# Мастерская дьявола

**Автор:**
Яхим Топол

Мастерская дьявола

Яхим Топол

«Мастерская дьявола» – гротескная фантасмагория, черный юмор на грани возможного. Жители чешского Терезина, где во время Второй мировой войны находился фашистский концлагерь, превращают его в музей Холокоста, чтобы сохранить память о замученных здесь людях и возродить свой заброшенный город. Однако благородная идея незаметно оборачивается многомиллионным бизнесом, в котором нет места этическим нормам. Где же грань между памятью о преступлениях против человечности и созданием бренда на костях жертв?

Яхим Топол

Мастерская дьявола

© Jachym Topol, 2009

© ИД «Книжники», 2019

© С. Скорвид, перевод, 2019

© М. Заикина, оформление, 2019

* * *

на реке чувств

и на откосе бесчувствия

жестяное солнце

создает колонию страха

П. З., группа Dg 307[1 - Павел Зайичек (р. 1951) – чешский поэт и музыкант, основатель андеграундной группы Dg 307 (1973). Названием группы стал шифр психиатрического диагноза «Временные психические расстройства – ситуационный невроз», позволявшего юношам избежать службы в Чехословацкой народной армии. – Здесь и далее примеч. пер., если не оговорено иное.]

Эй, на мне чужие шрамы, откуда они взялись?

Дорота Масловска[2 - Современная польская писательница, романист и драматург (р. 1983). Эпиграф взят из ее интервью 2009 г., помещенного на портале iliteratura.cz.]

1

Я мотаю в Прагу, на самолет. Ну как мотаю – тащусь по обочине, слегка окутанный туманом дурмана, потому что пью.

В последнее время мы со студентами терезинского «Комениума» много пили.

И вот я иду вдоль дороги, а частенько и пробираюсь по кювету, чтобы меня не увидели патрульные из машины дорожной полиции.

Не хочу, чтобы меня замели и стали задавать вопросы про пожар в Терезине.

Иной раз бросаюсь в этот кювет и скрючиваюсь там, вжимаясь спиной в глину, иначе мне не поместиться.

Так потихоньку я продвигаюсь к Праге, чтобы попасть на самолет.

В бутылке еще кое-что осталось – это вино от Сары. Мясо, которое мне дали в дорогу, уже съедено.

Мне не хотелось его есть, долго не хотелось, но потом я заставил себя, ведь силы мне не помешают.

Луна уже почти полная.

Терезинские валы из красного кирпича давно остались позади – все эти стены моего родного города…

Города, который, как говорил мне отец, основала императрица Мария Терезия. С той поры по нему прошагали сотни тысяч солдат многих армий; императрица Мария Терезия любила военные парады, говорил мой папа – майор, военный капельмейстер, просто обожавший терезинские парады с оркестром.

Теперь этот город у меня давно за спиной, позади остались все эти огромные здания времен Марии Терезии и Иосифа II, склады под миллионы единиц боеприпасов, конюшни для сотен лошадей, казармы на десятки тысяч вояк; я ухожу, как ушли все защитники этого города, который строился ради армии… приток солдат в город, построенный для солдат, прекратился.

А город без армии разрушается.

Моих коз, которые выедали траву с крепостных стен, продали.

Большинство из них.

Отец до этого не дожил.

Я – один из тех, кто хотел спасти Терезин.

Моя матушка говорила, что я появился на свет, когда они с папой меня уже и не ждали; при этом она часто повторяла, как ей хотелось бы, чтобы я остался

совсем маленьким и в случае нужды мог спрятаться в наперстке. Я питался бы горошинами, дрался с кошкой за каплю молока, ходил, обернув бедра маленькой тряпочкой, – короче, был бы мамин Мальчик-с-Пальчик.

Поначалу мне это было приятно, что тут скрывать.

Но никуда не денешься – я рос, как все дети.

И меня уже не радовало, когда отец с дирижерской палочкой в красном футляре, расшитом миниатюрными изображениями желтых серпиков и молоточков, уходил на работу, а матушка принималась закладывать окна и двери подушками и одеялами.

Раньше, говорят, я хлопал в ладоши, когда мама отодвигала от стен мебель.

Между всеми этими шкафами и шкафчиками, буфетами, перевернутыми стульями, креслами и парадным диваном она создавала надежное убежище, гнездышко для нас двоих.

Мне нравилось, когда в этом теплом гнездышке мы с матушкой прижимались друг к другу и сидели там, обнявшись, пока отец, вернувшись после работы, не вытаскивал нас из безопасного укрытия.

Окружающий мир был огромным, и матушка пряталась от него.

Как только стало возможно, я начал от нее удирать.

Смутно вспоминаю, как это произошло в первый раз: однажды я вырвался, выскользнул из ее надушенных объятий, оттолкнул ее протянутые ко мне руки, протиснулся под диваном, перелез через кресло, хлопнул, подпрыгнув, по ручке двери, открыл ее – и вылетел наружу.

Там я вместе с другими ребятами гонял как сумасшедший туда-сюда по крепостным стенам, кидался в траву, вскакивал и мчался дальше.

И, конечно, Лебо! Его мы все знали, в Терезине иначе и быть не могло.

Кроме того, дело было отчасти и в моей матушке…

Лебо единственный с ней дружил. Ну, не то чтобы дружил, но цветы ей носил.

И еще тетушки о моей маме немного заботились.

Она совсем не выходила из дому.

Но всегда могла рассчитывать на то, что в Международный женский день или в годовщину освобождения страны Красной армией Лебо принесет ей огромную охапку полевых цветов, собранных где-то далеко под крепостными стенами, там, куда не доходили мои козы, или тайком вручит ей запорошенный красной пылью букет в День матери – праздник, который при коммунистах не отмечали; дядя Лебо всегда дарил маме цветы, а тетушки улыбались.

Когда-то Лебо будто бы даже обменивался с матушкой парой слов, но я этого не помню.

А помню, наоборот, что мама в последние годы уже почти совсем не разговаривала.

Она все время хотела лишь одного – сжаться, чтобы занимать поменьше пространства, найти себе такое местечко, где можно было только дышать, – этого ей хватало.

Дядю Лебо знали в Терезине все дети.

Сначала мы думали, что Лебо его зовут потому, что у него такой вытянутый череп и высокий лоб, – мы считали, что по-настоящему он дядя Лобо, но это было не так, а объяснила мне все тетя Фридрихова, которая девочкой прятала маленького, едва родившегося Лебо в коробке от ботинок у себя под нарами, поскольку ее место было в самом углу камеры для осужденных женщин и девушек, и имя Лебо, рассказала она, появилось так. Старшей в их камере была словачка, по воле случая баба-повитуха, и вот, приняв тайком в камере роды, она якобы произнесла вслух – хоть и шепотом – то, что думали про себя все женщины: чтоб молчал, либо мы его задушим, так выразилась повитуха, и сказанное ею со словацким выговором «либо» стало именем Лебо.

Рожать и прятать новорожденных в камере запрещалось, но женщины надеялись, что Красная армия семимильными шагами спешит в Терезин, и они не ошибались.

При самих родах ни тетя Фридрихова, ни другие мои тетушки не присутствовали, тайными родами руководили более опытные пожилые женщины, которых уже нет в живых, и я жалел, что мои тетушки были тогда такие молодые, а то они могли бы рассказать, кто была мать Лебо, хотя, в общем-то, какая разница, ведь родительница Лебо, должно быть, все равно не выжила в сумятице военных будней: может, сгинула в одном из последних эшелонов, идущих на восток, или скорее, как думали тетушки, угодила в тифозную яму, и вообще, за недозволенные роды она так или иначе получила бы пулю, объясняла мне тетя Фридрихова.

«Впрочем, мы не очень-то обращали на это внимание!» – прибавила она, вспоминая старые времена в Терезине; у нее как раз были в гостях тетя Голопиркова и тетя Догналова, и тетя Фридрихова обвела взглядом стены своей маленькой квартирки, куда я пришел с расспросами, а потом из ее горла раздалось бульканье сдавленного смеха; в конце концов, не удержавшись, она прыснула со смеху – и тетушки Голопиркова и Догналова, которые, подобно ей, провели молодость в Терезине, тоже засмеялись.

Лебо был нашим дядей, дядюшкой всей терезинской мелюзги.

Это для него мы обшаривали коридоры – при своем мелком росточке мы могли пролезть в любой канал, где случайные наносы досок из ограждений, смытых паводками с лугов, причудливо коробили поверхность воды; в подземелье не было гнили, щиты, предупреждающие об опасности, которые установили здесь работники Музея, не могли нам помешать, их легко было отодвинуть детской рукой, особенно же нас манили бункеры у самых дальних бастионов…

И как же здорово было отыскать какую-нибудь широченную трубу или старый хлев, забраться в укромный уголок у крепостных стен, куда редко кто заходил, где валялись бутылки и презервативы, прижаться к кирпичам, ощущая все грани и изгибы кладки, и отдыхать!

Матушка пыталась не выпускать меня из дому.

Лучше бы ты остался во мне, говорила она. Чего тебе там не хватало? Сама она никуда не ходила.

Тронутая, одно слово.

Так незло, да и то только иногда, ворчали на мать мои тетушки, жившие по соседству: тетя Фридрихова, тетя Догналова, тетя Голопиркова и другие.

– Это у нее с тех пор! Она не виновата! Ведь сколько всего она вынесла! – говорили они.

Матушка никуда не выходила, ей нужно было чувствовать спиной стену или угол комнаты, она довольствовалась малюсеньким пространством, которое позволяло дышать, и большего не желала, но при всем этом она не окончила дни в психушке, туда ее не забрали, даже после того как она привязала меня в чулане, чтобы я не ходил в школу, даже после этой и других подобных историй, когда мать не давала мне выйти из дому, ее не изолировали, ведь она была герой войны, поэтому ей позволяли делать чуть ли не все что вздумается, и, несмотря на то что она наложила на себя руки, когда меня отправили из города в училище, никто не осуждал ее, никто не очернял ее память, ибо матушка была жертвой зверств и героиней войны; само собой, отцу тоже никто ничего не сказал, ведь он тоже был герой войны, таких у нас в Терезине было множество, даже дядю Лебо, который один-единственный дарил моей матери огромные букеты цветов, считали героем как городские власти, так и ученые из Музея, хотя он в Терезине в войну только появился на свет и не мог помнить всех этих ужасов.

Дядя Лебо командовал нами – последней горсткой отчаянных защитников Терезина. Он в Терезине родился, ходил в терезинскую школу, работал в Музее, пока не уволился, а главное – в Терезине он собирал предметы.

С дядей Лебо и Сарой, которая первая пришла к нам из внешнего мира, мы основали коммуну «Комениум», международную школу для студентов со всего света.

Название ей придумала Большая Лея, приехавшая в Терезин сразу после Сары, и мы дали нашему заведению имя Учителя народов Яна Амоса Коменского, который утверждал, что школа должна быть игрой.

Но наше дело похоронено под обломками, точнее сказать, сгорело в огне, и вот я уношу ноги – мотаю в Прагу.

Устроил это Алекс, белорус.

Это он устроил мой побег, потому что только у меня так крепко засел в башке Лебо с его планами, но прежде всего с его адресами и контактами, которые приносили нам деньги; и все это богатство, контакты, хранится у меня на флешке, в этой малюсенькой умной штучке…

Я называю ее «Паучок».

Лебо – единственный в мире человек, который в Терезине не только родился, но и прожил там всю свою жизнь.

И все связанное с Терезином – не с его славным боевым прошлым, а в основном с его жуткой историей времен войны – было страстью Лебо, потратившего десятки лет на собирание предметов – и контактов, которые должны были помочь спасти город. Все эти контакты он передал мне, чтобы мы выжали из них деньги на «Комениум».

Потому что Лебо настаивал на том, чтобы Терезин сохранился целиком, со всеми этими ходами, подвалами, нарами, надписями, выцарапанными на стенах, и со всей своей жизнью: с горожанами, овощным магазином, гладильней, общественной столовой и прочим.

Всех этих горожан я знаю.

Лебо не хотел, чтобы от Терезина остался только Музей с туристическим маршрутом, проложенным музейщиками, – этого не хотел никто из нас, последних жителей.

Все контакты Лебо я сохранил в «Паучке», который теперь сжимаю в кармане.

Пока у меня есть «Паучок», мне есть куда бежать. Это устроил Алекс с тем, чтобы я помогал ему в его стране. Он хочет продолжить дело Лебо у себя на родине.

Я иду сквозь ночь, которая полнится звуками и шуршанием машин, несущихся по шоссе на Прагу. Иду по обочине, временами присаживаюсь отдохнуть в придорожную канаву и, вжимаясь спиной в глину, вспоминаю.

В Терезине я выгонял на валы коз, все мое небольшое стадо: козы выедали траву, что было совершенно необходимо для поддержания обороноспособности и сохранения красоты крепостных стен; нередко я водил мое стадо к самым дальним валам – это, как объяснял мне отец, было моим почетным долгом. Ведь именно эти валы со стороны Праги – первое, что видели бесчисленные делегации, которые приезжали почтить память чешских патриотов, замученных в Малой крепости, и множества узников-евреев, замученных или умерщвленных иными способами в Терезине либо вывезенных в лагеря смерти на восток. Да-да, эти самые стены из красного кирпича на окраине Терезина со стороны Праги служат визитной карточкой города-крепости, как говаривал мой папаша-майор, и, конечно же, именно поэтому их украшал почетный нагрудник – кумачовый транспарант с надписью С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА И НИКОГДА ИНАЧЕ. Аж досюда я гнал иногда моих козочек – это был последний бастион города-крепости.

Однако чаще всего мое стадо паслось невдалеке, у самого подножья валов, потому что козы любили траву, красную от пыли, что сыпалась из кирпичных крепостных стен.

Мой папа-майор был среди освободителей Терезина, в город он попал в последние дни войны, встретился здесь с моей мамой, а в дальнейшем прославился образцовой организацией военных парадов на терезинской площади, этом огромном строевом плацу времен императрицы Марии Терезии.

Отцовы марши до сих пор звучат у меня в ушах, они гремели, когда я был еще совсем маленький и прятался за коврами, диванами, зеркалами, креслами и прочей мебелью в маминых объятиях, вдыхая запах ее шеи и красивого лица, и позже, когда я убегал от нее на валы и лазил по бункерам вместе с другими детьми, с которыми мы пасли коз, подражая их меканью… нам и оттуда был слышен терезинский оркестр. Выгонять коз на валы было нашей, терезинской мелюзги, повинностью; потом отец избавил меня от нее, отправив в училище, где очередные военные марши должны были выковать из меня человека.

Мои сверстники тоже разъехались по училищам, а те, у кого на это недоставало денег, шли хотя бы во вспомогательные войска: девчонки – поварихами, прачками или шлюшками, парни – шоферами и минерами, даже самые тупые устраивались помощниками мясника на бойне, – но я был сын майора, так что о вспомогательных войсках не могло быть и речи.

Бойня находилась в Терезине, это бы мне подошло, я мог бы водить туда старых коз – от валов она была рукой подать, рядом с кладбищем, – но мне пришлось уехать в училище, а моя мама на другой же день после того, как отец отвез меня, умерла. Тетушки потом рассказали мне, как это случилось: папа вернулся с репетиции полкового оркестра и произвел пару привычных манипуляций с дверью, позволявших попасть в квартиру, где мебель была сдвинута тесно-тесно, так, чтобы мама могла забиться в какую-нибудь оставшуюся щель, годную лишь для того, чтобы дышать, но в этот раз, нажав на дверную ручку, папа повесил маму, которая, встав на колени, старалась занять собой как можно меньше пространства, такой уж у нее был бзик…

«Тронутая она была», – сказала тетя Фридрихова. «Это все из-за того шока в яме», – сказала тетя Голопиркова. «Бедный мальчик!» – сказала тетя Догналова, укрыв меня широким изгвазданным фартуком; только я уже был не мальчик, я сбежал из училища, за что полагались такие наказания, как розги, связывание, сотни приседаний, и все это – под издевательский хохот персонала, заглушавший свист прутьев, а хуже всего – мерзкая армейская губа… но мне было все равно, меня тянуло домой, к козам, плевать я хотел на наказания, и в этом я оказался прав: ничего со мной не сделали ни за ту самоволку, ни за все остальные, ведь мой папаша был майор!

Между тем папаша был мной недоволен и всякий раз колотил меня за отлучки, что в конце концов и вышло ему боком.

Я тоже был недоволен тем, что приходилось учиться, таскаться по далеким полигонам или торчать в классах с огромными окнами, через которые весь мир наваливался мне на плечи, и я смывался при всяком удобном, а позже и неудобном случае, потому что умел просочиться даже и сквозь наглухо законопаченную дверь, я всегда отыскивал лазейку, хотя меня даже запирали, и какими-то путями пробирался домой, после чего меня всякий раз находили в проеме крепостной стены, где кирпичи и бревна образовывали загончик для коз.

Туда мой папа-майор шел в первую очередь.

И – марш обратно в училище!

Там меня заставляли учить английский, язык врагов, и русский, язык друзей, и я учился без продыха, с гнетущей тяжестью окружающего мира я справлялся, утыкаясь в учебники, погружаясь в них с головой, только так можно было выжить в классе, а о большем я не мечтал! Видимо, прежде всего благодаря навязанным мне языкам – ничего другого я из училища все равно не вынес – я стал потом правой рукой Лебо и пришелся очень кстати, когда строили «Комениум»; по сути дела, я следовал отцовскому завету: трудился на благо Терезина и, как позднее объяснил Лебо, кладя свою огромную лапу мне на плечо, по-своему оборонял этот папин город-крепость, так что в конце концов папаша, несмотря на нашу последнюю ссору, которой он не пережил, мог бы мной, вероятно, даже гордиться.

Может, и так.

Из училища меня в итоге выставили. Хоть у меня и был папа-майор, для армии я не подходил.

И я вернулся пасти коз и был этим счастлив, потому что другие мальчишки-девчонки повырастали, а новой детворы не появилось, так что остался я со своим стадом один-одинешенек.

Козы – это в Терезине была не просто какая-нибудь деревенская забава или пища, а символ города-крепости; это были биологические боевые машины.

Козы очищали от сорняков, травы и кустарника проходы между валами, эти уязвимые места любой крепости; что бы там ни считалось чудом военной техники – прусские пушки, округлые стены французских бастионов, немецкие «тигры», советские «катюши», прозванные «сталинскими органами», или всевозможные стволы, выкованные позже молотами холодной войны, – козы, жадно поедавшие всю растительность, неизменно поддерживали городские укрепления в чистоте.

На что годились бы все эти продвинутые военные технологии, если бы один-единственный храбрый солдат смог проползти по заросшему сорняками рву к городским воротам и самой что ни на есть примитивной базукой проделать в них

брешь?

Если исчезнут козы, любой город-крепость падет.

Папаша, конечно, не собирался оставлять меня при козах, этого ему было мало; он хотел, чтобы я учился руководить и командовать, чтобы по моему приказу люди превращались в машины и все такое… В тот раз мы отчаянно ругались с ним на стенах, покрытых красной пылью, так как кирпичи, терзаемые сотни лет холодными ветрами, источают микроскопические облачка красной пыли, подобно тому как обитающие в воде животные выпускают защитное чернильное облако. Под конец ссоры отец, видно, понял, что я уже вырос настолько, что он не в силах поколотить меня… тогда он схватился за сердце и еще за мою руку, как будто собираясь сбросить меня со стены, но я-то как раз устоял, это он обмяк и начал падать; он рухнул навзничь в красную траву, так что мои козы прыснули в разные стороны, я полез вниз и стал звать их, успокаивая, я и отца пытался оживить, точь-в-точь как нас инструктировали в училище, но безуспешно.

Ему устроили грандиозные военные похороны, на главной площади Терезина выстроились части, которые затем под грохот орудийных залпов маршировали по городу до позднего вечера, на похоронах играли лучшие военные оркестры из всех окрестных гарнизонов, это были едва ли не самые красивые похороны за всю историю Терезина, как говорили мои тетушки и наш сосед, зеленщик Гамачек. Похороны понравились всем. Само собой, мне соболезновали многие военные, которые тогда еще жили в городе. А потом меня посадили.

## 2

За смерть отца мне дали большой срок, но что теперь об этом толковать. Сразу после освобождения я направился к ближайшей пивной.

Мои товарищи по отсидке утверждали, что так делают все.

И те, которых я сопровождал к люку, говорили, что с большей охотой завалились бы в кабак, в ближайшую пивную на Панкраце[3 - Панкрац – исторический район

Праги, получивший свое название по находящейся на его территории старинной церкви Св. Панкратия. С конца XIX в. под тем же названием известна тюрьма, построенная здесь в 1885–1889 гг.].

У техника пана Мары в камере для казней стоял стол, а на нем – огромный допотопный компьютер с мигающим зеленым монитором.

Пан Мара был арестован и осужден когда-то давно в рамках грандиозного процесса над кибернетиками – изменниками родины.

Но поскольку тюремному начальству было известно о его исключительных технических способностях, дело повернулось так, что он стал палачом.

При этом социалистическая кибернетика осталась его коньком.

В старину палачи приводили себя в чувство водкой, хлестали ее целыми ведрами, но пан Мара был человек, проникшийся техническим духом новой эпохи: он приводил в порядок нервы при помощи компьютерной игры собственного изобретения.

Игрой этой развлекались как офицеры, так и простые охранники.

А я был у него подручным.

С годами, что летели и тянулись, как всегда в тюрьме, его компьютерное оборудование постоянно совершенствовалось, уменьшаясь в размерах.

Почему в подручные пана Мары выбрали именно меня?

Как-то казнили одного бандита, великана-словака. Четверо тюремщиков с ним просто измучились: вели его в цепях, а он трясся, лягался, ведро мне перевернул – я как раз тогда коридор мыл. Когда этот бандит ступил на порог камеры пана Мары, у него от ужаса отнялись ноги. И я ему помог.

После этого меня позвали еще раз. И еще.

Тюремное начальство не переставало поражаться тому, что приговоренные, которых вел я, не скулили, не ревели, подобно бессловесной скотине, не дрались с охранниками, а были спокойными, тихими… я догадывался, что так на них действовало мое собственное спокойствие: мои мозг и душа, мои ноги были привычны к петлянию терезинских коридоров, к мраку подземелий и бункеров, к железным решеткам, ничто в моем теле и душе не восставало против обиталища смерти, меня не выворачивало, не тянуло украдкой молиться, у меня не было кошмарных снов, и я после исполнения приговора не рыдал, что, говорят, случалось с тюремщиками, которых, прежде чем начальство обнаружило мои способности, назначали в этот последний эскорт приказом, причем им за это доплачивали, а мне не платили, мне сокращали срок… видно, мое спокойствие каким-то образом передавалось идущим на казнь, надзиратели и сокамерники не хотели вести их, а мне было все равно… ходить мимо камер смертников, шагать по коридору к люку, куда их сбрасывали… такие места я знал с детства, а в Панкраце при мне казнили убийц, опасных для страны воров, насильников, отпетых бандитов; среди приговоренных уже не было героев войны вроде моих родителей: герои к тому времени по большей части лежали в могилах. Что ж, говорил я себе, провожая заключенных в их последний путь, расхитители социалистической собственности, насильники и душегубы знали, на что шли, а мы с паном Марой не были жестокими, только непреклонными.

В минуты затишья я садился рядом с ним и смотрел на его руки, манипулирующие техникой, длинные пальцы пана Мары бегали по допотопной клавиатуре, и мы ждали шифрованного приказа тюремного начальства по радио, к примеру: «Блок Б приготовить к зимовке!»

По этому или другому условному сигналу я вставал, шел в камеру и под присмотром тюремщиков выводил заключенного, после чего уже один спокойно вел его по коридорам к пану Маре, который тем временем должен был подготовить все необходимое.

У некоторых перед этим последним пристанищем покрывался испариной лоб и деревенели ноги, как тогда у словака, и я им помогал… мы с паном Марой называли это ступором… даже самые хладнокровные, которые шли по коридорам молча или, наоборот, подшучивали надо мной, например, спрашивая, мечтаю ли я о завтрашней баланде… даже они иногда впадали от внезапного ужаса в ступор, хреново им делалось, блевать тянуло… моя сила и мое спокойствие на пороге убойной камеры переставали действовать… но пан Мара с этим всегда как-то справлялся.

При исполнении приговора я не присутствовал.

Я участвовал только в подготовке к исполнению, а после иногда вооружался ведром, тряпкой и моющими средствами – но что теперь об этом толковать.

Не хочу я больше такого.

Между казнями, на которые к нам свозили заключенных со всей республики, бывали перерывы.

Тогда пан Мара часто велел мне садиться за компьютер, и мои пальцы, выбеленные моющими средствами, сморщенные от возни с бесчисленными ведрами воды, начинали стучать по клавиатуре – я играл в игру, в которой точки, бегавшие по мерцающему экрану монитора, проскакивали в воротца и стреляли одна в другую, и, пока я играл в эту допотопную игру, я забывал, где я и кто я есть, забывал все эти крики и хрипы, за мельтешением поблескивающих точек забывал о дерьме, вываливавшемся и вытекавшем из штанин, забывал лица тех, кого смерть превращала в неподвижные манекены, забывал, что я и сам становлюсь манекеном, роботом, реагирующим на команды по тюремному радио и на указания пана Мары, забывал, что все остальные заключенные меня ненавидят, я играл, и эта захватывающая игра, возможно, была одной из первых компьютерных игр в мире.

Под началом пана Мары я уже научился не печатать двумя пальцами, как на стародавней пишущей машинке в училище, а стучать по клавиатуре всеми десятью, и через какое-то время я почти сравнялся с самим паном Марой; он же, следя за моими успехами, корректировал параметры игры, которую изобретал.

Он хотел, чтобы это была обучающая боевая игра.

Мы непрерывно ее совершенствовали.

Пан Мара мог вызвать меня когда угодно.

Меня тогда уже поместили в отдельную камеру, поскольку тюремное начальство опасалось, как бы сокамерники меня не убили.

Моя великая мечта, говорил пан Мара, это чтобы моя игра готовила всех людей, и прежде всего детей, которые так любят всякие новшества, к великой победе над фашизмом во всем мире.

Дело в том, что пан Мара, хотя в то время и заключенный, был, само собой, военным и коммунистом.

Впрочем, технический работник в тюрьме Панкрац и не мог быть никем иным.

Однажды эти вот игрушки, тыкал пан Мара пальцем в поблескивающий компьютер, из которого отовсюду торчали, извиваясь, провода и проводочки, соединят людей во всем мире, и я буду в этом участвовать! А ты чем собираешься заняться, когда кончится срок?

На это я, кажется, пожал плечами.

Вот о чем расспрашивал меня пан Мара незадолго до отмены смертной казни в Чехословацкой Республике.

Ибо смертную казнь по решению высших инстанций в конце концов отменили. К счастью. Ведь если бы она осталась, меня бы, наверное, никогда не выпустили.

А так в один прекрасный день истек и мой укороченный срок.

И я вышел на волю.

Для начала я осмотрелся, где тут пивные.

О пивных на Панкраце мечтали многие заключенные – именно там их после освобождения ждали отцы, матери, друзья, подруги, двоюродные братья, дети, жены, а иной раз и теплые объятия покрытых татуировками подельников.

Меня ждал Лебо, и на нем никаких татуировок отродясь не было.

Так что, выйдя на волю, я двинулся к ближайшей пивной, поскольку совершенно не представлял, куда мне идти и что делать, ведь у меня не было ни семьи, ни подруги.

Всему этому суждено было измениться.

Перед пивной стоял Лебо. Он знал, когда меня выпустят, а ждать у ворот тюрьмы ему не хотелось, как он мне объяснил.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Павел Зайичек (р. 1951) – чешский поэт и музыкант, основатель андеграундной группы Dg 307 (1973). Названием группы стал шифр психиатрического диагноза «Временные психические расстройства – ситуационный невроз», позволявшего юношам избежать службы в Чехословацкой народной армии. – Здесь и далее примеч. пер., если не оговорено иное.

2

Современная польская писательница, романист и драматург (р. 1983). Эпиграф взят из ее интервью 2009 г., помещенного на портале iliteratura.cz.

3

Панкрац – исторический район Праги, получивший свое название по находящейся на его территории старинной церкви Св. Панкратия. С конца XIX в. под тем же названием известна тюрьма, построенная здесь в 1885–1889 гг.

---

Купить: https://tellnovel.com/topol_yahim/masterskaya-d-yavola

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити